

До той кошмарной августовской недели, когда каждый его новый план перечеркивал прежний, а каждое слово прикрывало ложь, я считал отца хорошим человеком, гордился, что мы одной крови. Сейчас легко сказать, что я заблуждался, как легко и задним числом обесценить все его достижения. Но в то лето мне было двенадцать — птенец желторотый, рос на тихой деревенской улочке, будто в мягких подушках, — и я не умел отличать мелкие недостатки взрослого от роковых изъянов. Возможно, наивность моя была сознательным выбором. Вероятно, я тогда уже понял, насколько он порочен — когда заметил у него однажды вечером на щеке жирный след от помады, — но закрывал на это глаза. На самом деле все, что я знаю о его жизни, выглядит иначе с каждой попыткой истолкования, и в любой мелочи я склонен замечать скрытый смысл. Я не ищу объяснения его поступкам, а всего лишь рассказываю, как он на меня повлиял. Я с тобой честен, и это главное.

Из-за той проклятой недели внутри у меня вечный раздрай, а в голове вместо ясных мыслей туман. Я уже не тот Дэниэл Хардести, каким был до нее (даже юридически не тот: в двадцать лет я сменил фамилию),

и все-таки осадок не сотрешь. Как могут несколько мимолетных страшных дней исковеркать целую жизнь? Почему мы так легко берем на себя чужие грехи? Знаю лишь то, что отец, с тех пор как я подросток и стал без него скучать, имел надо мной странную власть.

У него всегда было два состояния — “две погоды”, как говорила мама, — и менялись они резко, непредсказуемо. Был ласковый Фрэнсис Хардести — прижимался ко мне вплотную на фотографиях, обнимал меня за плечи, льнул ко мне, будто боялся, что стоит ему куда-то деться, и я забуду, какого цвета у него глаза. Но был и другой Фрэн Хардести, отчужденный, — прятался от меня в комнатах второго этажа, шептался в дверях с девицами и будто не слышал меня сквозь смех, усаживал меня в баре на табурет перед игровым автоматом, сунув в руку мелочь, а сам исчезал; от него мне перепадали лишь крохи внимания.

Я его любил и теперь стыжусь своей любви, — любил, несмотря на то что его привязанность ко мне была показной. Согласен, это меня не оправдывает. И все равно — когда я вспоминаю о той августовской неделе, то понимаю, почему буксую при каждом шаге вперед. Его грехи достались мне в наследство, его дурную кровь я передам детям.



Природа не одарила меня острой памятью на всякие мелочи, но я помню многое, что предпочел бы забыть, тем более что эту часть детства мне и нет нужды вспоминать — она подробно описана в документах. Вот, к примеру, содержимое отцовского

бардачка — список составлен в день, когда его машину нашла полиция:

Начатая упаковка мятных леденцов “Фокс”, с надорванным верхом. Разноцветные деревянные кольца для гольфа, новые. Три черные магнитофонные кассеты “Грюндиг”, подписанные опрятным отцовским почерком, зеленой шариковой ручкой: “Блю Белл Нолл”, “Сокровище”, “Громче бомб”*. Баночка средства для мытья рук, двести семьдесят пять миллилитров. Ножницы маникюрные, изогнутые. Смятый конверт с квитанцией от автомастерской Брайента за “ремонт задней двери” от 19 июля 1993 года. “Справочник владельца «Вольво 240»”, в обложке из кожзама. Упаковка из-под парацетамола. Тридцать четыре пенса мелочью: двадцатник, десятипенсовик и два медных двухпенсовика. Что еще? Затвердевший кусок восковой корки от сыра. Сломанная шариковая ручка из гостиницы “Метрополь” в Лидсе. Жестяная коробочка из-под тонких сигар.

На вещественные доказательства они не тянут, но их фотографии подшиты к пухлому отцовскому делу — пылятся в папке, как просроченные скидочные купоны в тумбочке. Казалось бы, чепуха, но то, что они тогда очутились у отца в бардачке, придает им вес. Многое из того, что в жизни пишется между строк, проходит мимо нас, но стоит однажды преступить закон — и все наполняется зловещим смыслом, каждый пустиак превращается в улику; вот и я смотрю на свое

* “Блю Белл Нолл” (*Blue Bell Knoll*, 1988) и “Сокровище” (*Treasure*, 1984) — альбомы шотландской группы *Cocteau Twins*; “Громче бомб” (*Louder than Bombs*, 1987) — альбом английской группы *The Smiths*. — Здесь и далее примеч. перев.

прошлое в том же ключе. Как будто в случайностях и скрыта правда. Как будто из незаметных мелочей выросли большие события.



У деревушки нашей, разумеется, была история и до моего отца. Местечко Литл-Миссенден — из тех, что до сих пор называют “приходами”. Приятный уголок посреди возвышенности Чилтерн-Хилс, достопримечательности которого, интересные в первую очередь историкам, — собор романского стиля и особняки — привлекают иногда туристов из Лондона и не только. К нам часто забредали художники во фланелевых рубашках и устраивались писать акварели, а я стоял за мольбертом и изводил их вопросами. Они всегда рисовали одно, а я видел другое. Они рисовали графично-четкие деревья, застывших птиц, домики, каждый со своим неповторимым обликом, деревенские улочки в пятнах света. А мой Литл-Миссенден, переплетение пространств, было не так-то просто передать в рисунке. Ухабистая тропка, где я гонял на велосипеде; лаз под нашей живой изгородью, который я расширял год за годом; углубление для монет в телефоне-автомате, где прятались мои солдатики, когда я отправлял их в разведку; флагшток на колокольне, видный из всех наших окон второго этажа; пологие холмы, где так хорошо кататься на санках, — каждый год под Рождество я молился, чтобы их укрыло снегом. Без таких мелочей и дом не дом. Имей я мужество сюда вернуться, я бы нашел их иными. Иными — считай исчезнувшими.



Перемены начались тихим утром в четверг, 17 августа 1995-го, когда я увидел, как к нашему дому подъезжает старенький отцовский “вольво”, — синее пятно двигалось будто сгусток крови по вене. Все утро я его высматривал, забравшись с ногами на деревянную скамью у окна гостевой комнаты, но видел только пустую дорогу — влажную полосу асфальта, где торжественно вышагивали вороны, — и сникал всякий раз, когда появлялся автомобиль и с ревом проносился мимо.

Мама неделями готовила меня к разочарованию — объясняла, что Фрэнсис Хардести, сколько бы он ни клялся и ни обещал, может и вовсе не появиться. “Для твоего отца превыше всего удобство, — предупреждала она. — Если он тебя подведет, близко к сердцу не принимай. Он про тебя просто забыл, и все”. Эти разговоры мне всегда были не по душе. Чем яростней ругала она отца за его спиной, тем проще мне было заткнуть уши. На расстоянии его недостатки блекли. Я верил, что однажды он опровергнет мамины слова, покажет себя с лучшей стороны.

В то утро мама поджидала его в прихожей — наверное, не один час там простояла. Когда раздался звонок, она посмотрела на позолоченные часы у двери.

— Ровно семь тридцать, — сказала она, когда я спустился. — Это точно не он. Можно было еще поспать.

Но за стеклянной дверью маячил размытый силуэт: рубашка, бледный овал лица, темная копна волос.